

ПРЕДИСЛОВИЕ

В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградированных представителей лондонского населения.

Не видя никакой причины, в пору писания этой книги, почему подонки общества (поскольку их речь не оскорбляет слуха) не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, — я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах: славные ребята (большой частью любезные), одеты безукоризненно, кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости — прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался (исключая — Хогарта) с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, — вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица, — мне казалось, что это

необходимо и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в меру моих сил.

Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в «Опере нищего» жизнь воров изображена так, что, пожалуй, ей можно позавидовать: капитан Макхит, окруженный соблазнительным ореолом власти и завоевавший преданную любовь красивой девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, — кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же наклонностями не послужит капитан предостережением и ни один человек не увидит в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице.

В самом деле, Гэй высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра Эдуарда Бульвера «Поль Клиффорд», который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме, автор и сам не ставил перед собой подобной задачи.

Какова же изображенная на этих страницах жизнь, повседневная жизнь вора? В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями, каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вереско-

вой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавичков, нет ничего от того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали «большую дорогу». Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и вонючие логовища — обитель всех пороков; притоны голода и болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются, — что в этом соблазнительного?

Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступник, чтобы прийтись им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-нибудь Макарони в зеленом бархате — восхитительное создание, ну а Сайкс в бумазейной рубахе невыносим! Какая-нибудь миссис Макарони — особа в короткой юбочке и маскарадном костюме — заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки; ну а Нэнси — существо в бумажном платье и дешевой шали — недопустима! Удивительно, как отворачивается Добродетель от грязных чулок и как Порок, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится Романтикой.

Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже когда она выступает в обличье тех людей, которые столь превознесены в романах, а посему я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке Плуто, ни одной папилютки в растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения писал.

О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, — довольно непоследовательно, как смею я

думать, — утверждая, будто краски стужены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаясь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в одном: такие люди, как Сайкс, существуют, и если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое, более мягкое человеческое чувство в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти — об этом я не берусь судить, но я уверен, что дело обстоит именно так.

Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или немислимы, правильны или нет. Они — сама правда. Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда, ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных; надежда еще тлеет в них; последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие, и худшие стороны нашей природы — множество самых уродливых ее свойств, но есть и самые прекрасные; это — противоречие, аномалия, кажущиеся невозможными, но это — правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо, если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность.

В тысяча восемьсот пятидесятом году один чудак-олдермен во всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было. Но и в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году остров Джекоба (по-прежнему место незавидное) продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему.

ГЛАВА I

*повествует о месте, где родился Оливер Твист,
и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению*

Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно — рабочий дом. И в этом рабочем доме родился, — я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае, на данной стадии повествования, — родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы.

Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны.

Хотя я не склонен утверждать, что рождение в рабочем доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твис-

та. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычаем сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и Природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос.

Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невнятно произнес:

— Дайте мне посмотреть на ребенка — и умереть.

Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать:

— Ну, вам еще рано говорить о смерти!

— Конечно, Боже избавь! — вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. — Боже избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэра, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда

она образумится и не будет принимать все близко к сердцу!.. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью! Какой у вас милый ребеночек!

По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку.

Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад... и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала.

— Все кончено, миссис Тингами! — сказал наконец врач.

— Да, все кончено. Ах, бедняжка! — подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. — Бедняжка!

— Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать, — сказал врач, медленно натягивая перчатки. — Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой каши. — Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: — Миловидная женщина... Откуда она пришла?

— Ее принесли сюда вчера вечером, — ответила старуха, — по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны, но откуда и куда она шла — никто не знает.

Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.

— Старая история, — сказал он, покачивая головой. — Нет обручального кольца... Ну, спокойной ночи!

Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца.

Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист! Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего; самый родовитый человек

едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место — приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости.

Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.

ГЛАВА II

*повествует о том, как рос, воспитывался и как был
вскормлен Оливер Твист*

В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и чело-вечно порешили, что Оливера следует поместить «на ферму», или, иными словами, препроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с души. Семь с половиной пенсов в

неделю — недурная сумма на содержание ребенка; немало можно приобрести на семь с половиной пенсов — вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным — она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом.

Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи, и столь успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до одной соломинки; несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы; потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми с половиной случаях из десяти, оно или заболело от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтоб там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом.

Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили на смерть во время стирки белья — впрочем, последнее случалось не часто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, — присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане

возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидла; первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил — это было в высшей степени правдоподобно, а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу, — это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали бидла известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны, а можно ли требовать большего!

Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычайный или богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось девять лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и несомненно тощим. Но природа заронила хорошие семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло девять лет.

Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля — в избранном обществе двух юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны, — как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, бидла, который старался открыть калитку в воротах сада.

— Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл? — воскликнула миссис Манн, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованной. — (Сюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек и сейчас же их вымойте!) Ах, Боже мой! Мистер Бамбл, как я рада вас видеть!

Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный; вместо того чтобы должным образом ответить на это «чисто-сердечное» приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а за-

тем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги бидла.

— Ах, Боже мой! — вскричала миссис Манн, выбежав из дому, ибо три мальчика были к тому времени доставлены наверх. — Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри! Войдите, сэр, прошу вас, войдите, мистер Бамбл, войдите, сэр!

Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило бидла.

— Неужели, миссис Манн, вы считаете почтительным или пристойным, — осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость, — заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами? Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалованье?

— Право же, мистер Бамбл, я только сообщила кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли, — с большим смирением ответила миссис Манн.

Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился.

— Ладно, миссис Манн, — ответил он более спокойным тоном, — быть может, и так. Войдемте в дом, миссис Манн. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить.

Миссис Манн ввела бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер со лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы, в конце концов, тоже люди, и мистер Бамбл улыбнулся.

— А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу, — заметила миссис Манн с чарующей любезностью. — Вы совершили, знаете ли, большую прогулку, иначе я бы не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете ли вы капельку?..